

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Н. С. Лесков
ЛЕВША



Школьная библиотека (Детская литература)

Николай Лесков
Левша (сборник)

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Лесков Н. С.

Левша (сборник) / Н. С. Лесков — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004364-2

В книгу вошли рассказы и повести замечательного русского писателя Н. С. Лескова: «Левша», «Запечатленный ангел», «Тупейный художник», «Человек на часах» и др. Творчеству Н. С. Лескова свойственно не холодное изображение людей и обстоятельств, а живое освещение характеров внутренним светом, яркие, необычные герои и причудливые хитросплетения действительности. Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-004364-2

© Лесков Н. С.
© Издательство «Детская литература»

Содержание

В. А. Богданов	6
Запечатленный ангел	19
Глава первая	19
Глава вторая	22
Глава третья	24
Глава четвертая	26
Глава пятая	28
Глава шестая	30
Глава седьмая	33
Глава восьмая	36
Глава девятая	38
Глава десятая	44
Глава одиннадцатая	49
Глава двенадцатая	53
Глава тринадцатая	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Николай Семенович Лесков

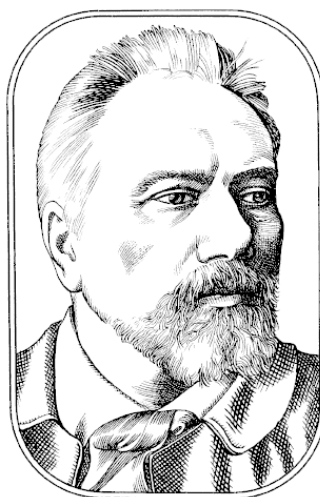
Левша

© Богданов В. А., составление, вступительная статья, 2002

© Бритвин В. Г., иллюстрации, 2002

© Оформление серии, комментарии. Издательство «Детская литература», 2002

* * *



Николай Семенович Лесков

1831—1895

В. А. Богданов Против течений

Николай Семенович Лесков появился в литературе в самый горячий, переломный момент той эпохи, которая вошла в историю русского общества как шестидесятые годы XIX века. Прологом исторических событий, идей и настроений того времени явилось поражение царской России в Крымской войне (1853–1856).

Печальные итоги Крымской кампании вскрыли экономическую и политическую отсталость страны. Не только «верхи», но и «низы» осознали неотложную необходимость обновления страны, неизбежность коренных перемен и прежде всего – неизбежность отмены крепостного права. «Это было удивительное время, – вспоминал видный публицист той поры, – обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России. <...> Эта заманчивая работа потянула к себе даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых литераторов, публицистов и ученых»¹.

Особенно широкий и мощный поток в общественном и литературном движении шестидесятых годов XIX века составили разночинцы – выходцы из бедных духовных, чиновничьих, купеческо-мещанских, а иногда и собственно крестьянских семей. Другой современник метко назвал разночинцев «разведчиками», которых «низы» высылали «к неведомым им доселе «верхам», чтобы хотя бы косвенно причаститься тому, что зарождалось там, таинственное и волнующее»².

«Разведчики» придавали освободительным настроениям яркую, колоритную окраску. И Лесков всей своей биографией, всем своим богатым жизненным опытом был подготовлен к тому, чтобы стать таким «разведчиком», поддержать и укрепить демократические устремления литературы шестидесятых годов XIX века.

Николай Семенович Лесков родился в 1831 году. Его детские и отроческие годы прошли на Орловщине. В 1839 году его родители приобрели Панин хутор в Кромском уезде. В уплату за хутор они продали свой дом в Орле.

В «Автобиографической заметке» Лескова читаем: «Жили мы в крошечном домике, который состоял из одного большого крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой. Отец сам ходил сеять на поле, сам смотрел за садом и мельницей. <...> В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу». Вместе с ними он пас лошадей, гонял их в ночное, ловил пескарей в узенькой, но чистой Гостомле. Впоследствии Лесков целый ряд своих произведений отнес к серии «Гостомленские воспоминания».

Лесков очень рано познакомился с тяжелыми, драматическими картинами крестьянской жизни. «Еще в мои детские годы, – расскажет Лесков своему биографу, – я видел близко страдания злополучного мужика, и рано во мне начали роиться грезы об улучшении участи несчастливцев».

Лесков был глубоко убежден, что именно своему детству он обязан подлинным, незаемным знанием народной жизни: «Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей. <...> Публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудировав ее, а живучи ею. Я, слава Богу, и знал его, то есть народ, – знал с детства и без всяких натуг и стараний».

¹ Шелгунов Н.В. и др. Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 93–94.

² Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956. С. 76.

Юный Лесков познакомился «без всяких натуг» не только с бытом и укладом «несчастливцев». Он приобщился к народным верованиям, к поэтическим вымыслам народной фантазии, что в дальнейшем пробудит и в нем самом дар воображения.

В 1841 году Лескова определили в Орловскую губернскую гимназию, которой он так и не окончил: без надзора старших, предоставленный самому себе, он куда больше времени проводил на улицах, площадях, базарах, чем за учебниками. Он провалился на экзаменах за третий класс, но от переэкзаменовки отказался и подал прошение в Орловскую палату уголовного суда о принятии его в канцелярские служители. Его принимают на службу, через год переводят в 1-й разряд канцелярских служителей, затем назначают помощником столоначальника.

Через канцелярию уголовного суда проходили дела о разорении крестьян помещиками, о побегах крепостных (за что их наказывали розгами), о ссылках беглых в арестантские роты. Наблюдения над судопроизводством западут в память будущего писателя и всплывут в его первых статьях и очерках.

В 1849 году Лесков переезжает в Киев и поступает служить в Казенную палату. Вскоре юношу определяют помощником столоначальника по рекрутскому набору, где он, по его словам, погрузился в «море стонов и слез».

Киевский период – а это десять лет жизни! – ничем не примечательный для служебной карьеры Лескова, многознаменателен для развития и запросов, необходимых для литератора.

В Киеве Лесков живет у своего дяди С. П. Алферьева, профессора Киевского университета. Андрей Николаевич Лесков, сын писателя, подчеркивал важную роль, которую сыграл дядя в жизни своего племянника: «Изъял его из мертвенно-дремотного Орла в университетский Киев, поставил в условия, благоприятствующие расширению умственного кругозора, пробуждению жажды к знанию, а тем, попозже, к писательству»³.

В доме своего дяди юный Лесков встречался с профессорами университета, многие из которых и стали для юноши «добрыми людьми», – вспомнит с благодарностью писатель, – обогатившими его, незадачливого гимназиста, необходимыми знаниями. Лесков всю жизнь сожалел, что не окончил Орловскую гимназию: обстоятельства положили предел «правильному продолжению учения». Он называл себя «самоучкой».

Одним из таких «добрых людей» стал профессор анатомии А. И. Вальтер. Его Лесков слушал «приватно» в аудиториях университетского анатомического театра. Профессор и убедил Лескова написать фельетон для журнала «Современная медицина» и тем «увлек» его в писательство.

В Киеве Лесков познакомился с друзьями опального Т. Г. Шевченко (сам поэт находился в это время в ссылке), а через них – с его потаенной поэзией. Здесь же Лесков овладел украинским и польским языками.

Лесков намеревался заняться наукой серьезно и систематически. Но, согласно университетскому уставу тех лет, даже вольнослушателями в университет допускались лица только с соответствующими аттестатами. А Лесков, получивший свидетельство, выданное Орловской гимназией, не мог быть принят в университет или лицей. Даже при поступлении на государственную службу он освобождался лишь от экзамена по священной истории, – а ее-то он знал на «отлично» – и арифметике.

В 1857 году Лесков увольняется из Казенной палаты и поступает на службу в коммерческую компанию А. Я. Шкотта, мужа своей тетки, англичанина. По делам компании он беспрестанно разъезжает по всему Поволжью, по Мариинской и Тихвинской водным системам, неоднократно бывает в Москве, «...прежде чем быть литератором, я был человеком коммерческим. <...> Я, смею сказать, знаю Россию как свои пять пальцев».

³ Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова. М., 1984.

Когда в 1860 году компания, обанкротившись, прекратила свое существование, Лесков вернулся в Киев, где и начинается его литературная деятельность. В корреспонденциях, статьях и заметках, появляющихся в киевских и петербургских газетах и журналах, он обличает взятки и прочие злоупотребления чиновников, критикует административные неурядицы, чреватые печальными последствиями для «низов». В свою статью «О рабочем классе» эпиграфом он, как и Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», взял строки из «Тилемахиды» Тредиаковского: «Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй». А одна из его корреспонденций появилась за полной подписью: *Николай Лесков*.

Страстным антикрепостническим пафосом полны и первые рассказы Лескова о жизни крестьян: «Погасшее дело», «Разбойник», «Язвительный». А в «Житии одной бабы», повествующем о подвижнической – потому и «житие»! – жизни крепостной, этот пафос приобретает трагическое звучание.

В 1861 году Лесков приезжает в Петербург. Здесь он активно включается в литературную жизнь эпохи: публикуется в «Отечественных записках», в газете «Русская речь», издаваемой в Москве популярной в те годы писательницей графиней Е. В. Салиас де Турнемир. Когда Лесков в середине года переезжает в Москву, она поручает ему вести «внутреннее обозрение».

Лесков с самого начала сближается с А. С. Сувориным, постоянным сотрудником и секретарем редакции «Русская речь». Суворин в ту пору разделял общедемократические убеждения, и между Лесковым и Сувориным складываются дружеские отношения.

Лесков, став членом кружка Е. В. Салиас, завязывает знакомства с виднейшими профессорами Московского университета – Ф. И. Буслаевым, Н. С. Тихонравовым, С. М. Соловьевым. В ее салоне он встречается с И. С. Тургеневым, знакомится с поэтом А. Н. Плещеевым, писателями новой, разночинной, волны В. А. Слепцовым, А. И. Левитовым.

В «Русской речи» появляются статьи Лескова, в которых он впервые называет себя постепенцем и противопоставляет свою, довольно умеренную, позицию радикально настроенным сотрудникам «Современника».

Летом в Москву приезжает жена Лескова, Ольга Васильевна, с которой он практически разошелся еще в Киеве. Между супругами вновь разгораются ссоры, вспыхивают распри, в которые вмешивается Салиас и члены ее кружка. Тогда Лесков порывает с редакцией и переезжает в Петербург, где начинается его постоянное сотрудничество с ежедневной газетой «Северная пчела», где он регулярно пишет передовые статьи.

По поводу полемических передовиц «Северной пчелы» Г. З. Елисеев, ведущий публицист «Современника», заметил, что в них «высказалась» «сила <...> еще не нашедшая своего собственного пути» и что «при большей сосредоточенности и устойчивости своей деятельности <...> она найдет свой настоящий путь и сделается когда-нибудь силою замечательною».

Этот доброжелательный, если иметь в виду выпады Лескова против «Современника», и прозорливый отзыв ставит литературное будущее Лескова в зависимость от выработки определенных и глубоких взглядов, свободных «от веяния кружка, интересов минуты».

Елисеев Г. З. предугадал то основное в позициях зрелого Лескова, что будет отличать его от других писателей – независимость от господствующих учений, признанных доктриной. И автор первой биографии Лескова очень точно назвал ее: «Против течений». В то же время Г. З. Елисеев предостерег начинающего писателя от ограниченности его мировоззрения, от стихийности демократизма, какой отличалась разночинная литература. А с ней все теснее смыкается Лесков.

Одним из зачинателей этой литературы стал Н. В. Успенский.

В рассказах, очерках и сценах Н. Успенского, В. Слепцова, Н. Помяловского, Ф. Решетникова образ простолюдина рисовался в традициях и духе критического реализма.

Лесков уже в ранних своих произведениях изображал простой народ без каких-либо прикрас: это и бессмысленное – со страху «смертного»! – убийство беглого солдата («Разбойник»),

и бестолковый бунт целого села, вспыхнувший лишь потому, что управляющий начал применять непривычно мягкие меры наказания («Язвительный»).

Писатели-разночинцы опирались в своем творчестве только на личные впечатления и наблюдения, они цепко держались реальности, не выверяя виденное какой-либо системой общих взглядов. Они передавали «интенсивное чувство интенсивной тяготы» (по словам А. Н. Пылина, беллетриста-народника), хорошо им известное и самими пережитое. И в жизни простолудинов они воспроизводили по преимуществу те явления и ситуации, на которые прежде всего и реагировал сам простой человек, – беспросветную нужду и полное бесправие.

С другой стороны, миропониманию стихийных демократов не доставало последовательности и цельности. Так, Г. И. Успенский о своих соратниках по литературе шестидесятых годов писал: «Даже малейших определенных взглядов на общество, на народ, на цели интеллигенции ни у кого решительно не было». Н. Успенский не разбирался в программе «Современника», куда его привлек Некрасов. Проявляя непоследовательность и колебания, они при всем их органическом, природном демократизме, нередко оказывались в лагере противников демократии, что очень скоро случилось и с Лесковым.

Не выработав твердых, последовательных взглядов на общество, на отношения между социальными и политическими силами, определяющими перспективы его развития, они не были подготовлены к тому, чтобы группировать, как требовал того Добролюбов, отдельные факты жизни, чтобы «соображать», как учил Салтыков-Щедрин, то или иное явление с общим ходом жизни. А без такого «соображения» трудно было создать цельную картину жизни, без этого литература была обречена на «осколки», как писал о жанре произведений Н. Успенского Чернышевский. И действительно, разночинная литература шестидесятых годов не поднималась, за редким исключением, выше отдельных, разрозненных картин и сцен, нередко натуралистических.

Летом 1862 года русское общество переживает трудное время. В Петербурге вспыхивают пожары, и правительство, инкриминируя их нигилистам, приостанавливает издание «Современника» и «Русского слова», арестовывает Писарева и Чернышевского. Впечатлительный Лесков, по его собственному признанию, «бежал из России», когда его статья о пожарах, весьма не четкая в определении их причин, вызвала гневную реакцию со стороны демократической прессы.

Через Вильно (Вильнюс) Лесков добирается до Львова, живет некоторое время в Кракове, старой столице Польши, потом в Праге, в Париже. Он намеревается попасть в Лондон, к Герцену, «жарким поклонником» которого был с юности. Но что-то помешало этому плану, иначе, вероятно, у Герцена Лесков встретился бы с Достоевским.

Из Парижа Лесков шлет корреспонденции в «Северную пчелу», здесь же возникает у него и замысел повести «Овцебык». Ее герой, разночинец Василий Богословский, после неудачных попыток поднять восстание приходит к горькому выводу: «Да, понял ныне и я нечто, понял... Русь, куда стремишься ты?.. Некуда идти... Никто меня не признает, и я сам ни в ком своего не признал».

Лесков вернулся в Россию в марте 1863 года и в следующем году начинает публиковать свой роман «Некуда». Воспринятый демократической критикой и общественностью как антинигилистический, он сыграл в судьбе писателя злополучную роль.

Нигилизм – это движение передовой молодежи, направленное против умственного и нравственного угнетения личности. Нигилисты отстаивали свободу, независимость от всего, что считали ветхозаветным. Горький отмечал еще и такую черту в нигилистах, как «юношески дерзкое желание сразу, одним махом, порвать все связи с прошлым страны». Наиболее полно и согласованно во всех своих элементах нигилизм выразил Писарев, а его радикальную сторону («сразу», «одним махом») – Варфоломей Зайцев, критик и публицист того же журнала, «Русское слово».

После появления тургеневских «Отцов и детей» слово «нигилист» стало кличкой, вошедшей в обиход и толкуемой подчас слишком расширительно. Например, М. Н. Катков и сотрудники его предельно консервативного журнала «Московский вестник» нигилизмом считали чуть ли не все направления революционно-демократических идей. К такому пониманию нигилизма склонялся в пылу полемики с «Современником» и Лесков. Впоследствии это приведет его к идейному сближению с Катковым.

Первые главы романа «Некуда» появились в журнале «Библиотека для чтения». Там же в течение 1864 года печатались и очерки Лескова «Русское общество в Париже», где он категорически настаивал: после отмены крепостного права в России революции «не надо». Полемические выпады против революционных демократов со страниц этих очерков перешли в роман, став его антинигилистической составляющей.

Необходимо заметить, что антинигилистическая беллетристика в общем литературном потоке той поры занимала довольно заметное место: это и «Взбаламученное море» (1863) А. Ф. Писемского, и «Панургово стадо» (1869) В. В. Крестовского, и «Бродящие силы» (1867) В. П. Авенариуса. Но «антинигилистический» не значит «антихудожественный». Например, антинигилистический роман А. Ф. Писемского «В водовороте», появившийся почти одновременно с «Бесами» Ф. М. Достоевского, восхитил и Н. С. Лескова, и Л. Н. Толстого, а роман «Бесы» высоко оценил за его художественные достоинства М. Горький. В то же время роман Лескова «Некуда» он ставил вне художественной литературы как «книгу прежде всего плохо написанную». Одним словом, антинигилизм – категория идейная, а не эстетическая, антинигилизм – тенденция, а не художественная несостоятельность.

Лесков несомненно критически, иногда переходя на памфлет, и явно предвзято, изображает в романе «так называемых... новых людей». Он упрекает их в том, что они «не получили в наследство ни одного гроша, не взяли в напутствие ни одного доброго завета», что у них не хватило решимости отречься от примкнувших к ним «шутов» и «дурачков».

Писатель тем самым продолжил «линию» И. С. Тургенева, который попутчиков Базарова изобразил «шутами» и «дурачками», а Герцен метко назвал «базароидами». Но у Лескова эти «базароиды» оттеснили на задний план «новых людей», и карикатурное изображение «шутов» и «дурачков» переросло в идею невозможности революционно-демократического переустройства России. Доктор Розанов, авторский резонер в романе, утверждает: «Никто с вами не пойдет... революции не будет... она невозможна в России... никаких элементов для революции нет... Некуда метаться. Россия идет своей дорогой, и никому ее не свернуть».

Не успел роман появиться в печати, как с его резким осуждением выступили «Современник» и «Русское слово». Д. И. Писарев предупредил из своего заточения в Петропавловской крепости: «Найдется ли теперь в России – кроме «Русского вестника» – хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера г. Стебницкого? «(Роман был напечатан под этим псевдонимом.)

Слова Писарева оказались пророческими. Никто, даже из сочувствующих Лескову, не смел вступить за него печатно. «Я ряд лет лишен был даже возможности работать», появление романа «испортило все мое положение в литературе», – признался он позднее. А еще раньше Лесков жаловался своему близкому знакомому: «Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал «Некуда».

Бойкотируемый демократической прессой, Лесков, по сути, вынужденно оказался в «Русском вестнике» Каткова, как и предвидел Писарев. К сотрудничеству с ним его толкало и то обстоятельство, что к этому времени прекратили существование и «Северная пчела», и «Библиотека для чтения», и «Эпоха» братьев Достоевских, где Лесков опубликовал в 1865 году «Леди Макбет Мценского уезда».

Несмотря на отчаянное положение, Лесков не прекращает творческой работы. Он приступает к «Соборянам», издает повесть «Островитяне», драму «Расточитель» (первая постановка состоялась на сцене Александрийского театра, особенно часто ставили ее в провинции).

Хроника «Соборяне» – иногда Лесков называет это произведение романом – была опубликована в 1872 году. Писатель так разъяснял ее замысел: «...я имею в виду выставить нынешние и нынешние положения людей, чающих движения легального, мирного, тихого». Эти люди – причт провинциального Старгорода, служители его собора, а сюжет – это, как разъясняет автор в другом месте, – «борьба лучшего из этих героев с вредителями русского развития».

Лучший и главный герой хроники – протопоп Савелий Туберозов, вступающий в конфликт с церковными властями. Когда он выступил в соборе с проповедью, обличающей торговлю совестью, его отлучили от службы и сослали в монастырь, где он и умер.

«Что за лицо! – восхищался безымянный рецензент еженедельника «Гражданин», не исключено, что Ф. М. Достоевский, – просто и естественно, как сама жизнь, вырастает эта чудесная, величаявая фигура...»

...В семидесятые годы XIX века русское общество вступило в новый период развития. С падением крепостного права началось стремительное промышленное развитие страны. А вместе с тем открылся простор и для авантюрного предпринимательства, биржевых спекуляций. На арену общественной жизни выходят новые хозяева – «хищники», «воротилы», как назовет их Салтыков-Щедрин. В духовно-нравственной жизни «все переверотилось» (Л. Н. Толстой), возобладали страсть к обогащению, эгоистические расчеты, разрываются семейные связи, гложут интересы к коренным вопросам бытия, выветриваются чувства долга и ответственности перед униженными и оскорбленными.

Лесков и в этот период остается противником революционной демократии. Но постепенно он высвобождается из-под влияния кружка «Русского вестника», назревает его разрыв с Катковым.

Но ни к одному из тогдашних общественных движений Лесков не примкнул, ни одной из тогдашних доктрин не увлекся. Он не связывает себя постоянным сотрудничеством с каким-либо издательством или журналом. Оставаясь свободным от литературных и общественно-идейных направлений, он хочет «наблюдать, обсуждать и резюмировать это мертвое время»⁴. Но когда после появления его очерка «Загадочный человек», посвященного памяти участника революционного движения Артура Бенни, критика вновь обвинила Лескова в клевете на освободительное движение, писатель ответил критикам романом «На ножках» (публиковался в «Русском вестнике», в ноябре 1871 года появилось отдельное издание романа).

Даже Ф. М. Достоевский, этот суровый и не всегда справедливый оппонент революционеров и социалистов, против которых он и направил свой роман «Бесы», появившийся одновременно с лесковским романом «На ножках», – даже он недоуменно развел руками. «Читаете ли вы роман Лескова в «Русском вестнике»? – спрашивает он А. Н. Майкова. – Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества»⁵.

Окариатурирование демократов, весьма заметное и в романе «Некуда», здесь переросло в памфлетное обличение реальных и легко узнаваемых участников освободительного движения. И Суворин был прав, заметив, что при создании романа автором руководило мстительное чувство к нигилистам. А сам Лесков признал, что «сбился» в романе на одну мысль с Достоевским – на аморализм нигилистов.

По самым расхожим штампам антинигилистической литературы строится сюжет романа, портретируются его персонажи: нигилисты поют гадкие, сальные песни, неряшливо одеваются,

⁴ Письмо от 30 января 1871 г. // Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973. С. 421.

⁵ Там же.

соблазняют невинных девушек, привлекают к своему «движению» преступников. И даже А. Л. Волынский, сочувствующий Лескову, вынужден был признать: «Это запутанное произведение, с невероятно сложными и нелепыми интригами, с убийствами, поджогами и любовными историями. Нельзя понять, каким образом... Лесков мог написать именно такое произведение».

В то же время Лесков при всем крайне тенденциозном отношении к своим противникам уловил реальные изменения в тактике и целях революционного движения – наметившуюся тягу к индивидуальному террору, появление политических авантюристов, приносивших этические принципы в жертву девизу «Цель оправдывает средства».

С большим трудом удалось опубликовать Лескову повесть «Очарованный странник». Еженедельник «Гражданин», который тогда, в 1873 году, издавал и редактировал Достоевский, отказался ее печатать, а Катков счел повесть «неудобною» для печати. По словам самого Лескова, Каткова «покоробило» изображение черствости и жестокости митрополита и «невысокое освещение дворянских фигур» сравнительно с образом «первопроходца» Ивана Флягина.

Несколько благополучнее сложилась издательская судьба рассказа «Запечатленный ангел», хотя и он вызвал критические замечания со стороны Достоевского.

«Запечатленный ангел» по форме – традиционная рождественская повесть с обязательными элементами чудесного, неправдоподобного. Чудо происходит с иконой ангела, вероятнее всего, иконой Михаила Архангела, которую артель раскольников хранила как драгоценную святыню. Икону отобрали у чиновников и, опечатав сургучной печатью, вручили архиерею. Раскольники выкрали свою святыню, подменив ее подделкой. И вот с иконы сама собой сошла печать. Раскольники чудесное событие сочли проявлением силы провидения и перешли в Православие.

Образ архиерея, который столь снисходительно отнесся к чиновникам, надругавшимися над иконой, вызвал у Достоевского сомнения. Неодобрительно отозвался он и о языке рассказа.

Повествование ведется от лица раскольника. Достоевский заметил, что за рассказчиком стоит автор, «ряженный», который, имитируя речь старообрядцев, «пересаливает», выражается «эссенциями».

Вскоре Лесков бесповоротно порывает с Катковым и его проправительственным журналом: «Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания «Захудалого рода» сказал: «Мы ошибаемся: этот человек *не наш!* Жалеть нечего, – *он совсем не наш*». А чуть позднее Лесков выскажется о своем многолетнем «спутнике» еще резче: «...лично на меня *как на писателя* он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней <...> меня угнетало и приводило в отчаяние».

Осенью 1875 года Лесков вновь съездил в Париж, откуда через Прагу, Дрезден, Варшаву, вернулся в Петербург. Одним из первых произведений Лескова, написанных после возвращения из заграничной поездки, был рассказ «Железная воля».

Его замысел связан, как разъяснил сам автор, с модным в середине семидесятых годов девятнадцатого столетия вопросом о «немецкой воле и нашем безволии». История Пекторалиса – иронический ответ на бытовавшее мнение о превосходстве русского ума над «железной волей» немцев.

Пекторалис приехал в Россию, чтобы установить машины в компании и наблюдать за ними. Обещая хозяевам приехать как можно быстрее, он, однако, невольно задерживался на каждой станции: таковы были порядки, напоминает автор. Но вместо того чтобы сделать выводы из своего опоздания и понять, в какой стране предстоит ему жить и действовать, Пекторалис гордится тем, что твердо, то есть железно, держал слово.

В рассказе Лескова русский ум превзошел немецкую волю: Пекторалис оказался просто-напросто педантом, слепо следующим принципам и не считающимся с обстоятельствами.

К началу восьмидесятых годов XIX века почти полностью забывается «заклятье»⁶, которое тяготело над Лесковым. От издательств и журналов начинают поступать предложения о сотрудничестве. «За мною действительно немножко ухаживают», – сдерживая гордость, сообщает Лесков о своей возрождающейся популярности. А. Н. Лесков пишет о переломе в литературной репутации отца: «Истосковавшийся в многолетней немоте «с платком во рту», Лесков неудержимо спешит нагнать потерянное время»⁷.

После замкнутого образа жизни, какой вел Лесков все эти годы «заклятья», он расширяет и оживляет свои литературные связи. В салоне С. Н. Толстой, вдовы известного поэта и драматурга, он встречается с Ф. М. Достоевским, И. Гончаровым, философом Вл. Соловьевым. Знакомство с Гончаровым очень скоро перерастает в дружбу: летом 1879 года они вместе отдыхают в Дуббельне (Дубулты, Прибалтика), совершают совместные прогулки, встречаясь в гостиницах, на концертах.

Сближается Лесков и с Достоевским. Когда появился разбор Достоевским романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», Лесков пошлет ему «горячее спасибо и душевный привет», найдя разбор умным, благородным и справедливым. Лесков будет присутствовать при выносе тела Достоевского из его квартиры и проводит гроб до Александро-Невской лавры. В одной из повестей Лесков назовет похороны Достоевского «событием в истории».

Семидесятые годы XIX века ушли в историю под выстрелы и бомбы народовольцев. Был убит С. М. Степняком-Кравчинским шеф жандармов Н. В. Мезенцов, за ним последовало покушение на его преемника, затем на Александра II, а 1 марта 1881 года взрывом бомбы, изготовленной Н. И. Кибальчичем, Александр II был смертельно ранен на Екатерининском канале.

На экстренном заседании Государственного совета обер-прокурор Святейшего Синода убийство императора объявил прямым следствием той либеральной политики, какую пытался проводить Александр II. «Государь, – обратился он к новому императору, – в такое ужасное время надобно думать не об учреждении новой говорильни (проект создания совещательного органа из выборных гласных. – В. Б.), в которой бы произносились новые растленные речи, а о деле... Нужно действовать!»

И правительство приступило к действиям. Последовали массовые аресты революционеров и ссылки. Уже 3 апреля террористы, осуществившие терракт на Екатерининском канале, были казнены. Все обращения о помиловании (в частности, Вл. Соловьев во время публичной лекции призвал Александра III не допустить смертной казни первомайцев) правительство оставило без внимания.

Министром внутренних дел назначили Д. А. Толстого, который провел ряд контрреформ, в том числе реформы суда и земства: они свели на нет послабления царя-освободителя. Министр просвещения И. Д. Делянов закрыл высшие женские курсы, а циркуляром «о кухаркиных детях» предписал не допускать в средние учебные заведения детей малообеспеченных родителей.

Выполняя волю Победоносцева и Толстого, Делянов уволил со службы из Министерства просвещения Лескова, куда, в ученый комитет, тот был назначен еще в 1874 году. В ответ Лесков «пожертвованную» ему золотую медаль передал беднейшему ученику орловской гимназии, который будет поступать в университет.

В 1884 году закрыли «Отечественные записки», тем самым Салтыкову-Щедрину, как он с горечью скажет, «запечатали душу».

⁶ Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1984.

⁷ Там же. С. 95.

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

Эти строки из поэмы Александра Блока «Возмездие», быть может, точнее и рельефнее других передают атмосферу восьмидесятых годов девятнадцатого столетия. В литературе, все усиливаясь, нарастают ноты отчаяния и пессимизма. Модной становится «унылая» поэзия С. Я. Надсона. В творчестве В. М. Гаршина, Г. И. Успенского возникают трагические мотивы. Обозначается процесс «дегероизации» литературы: повесть И. Н. Потапенко «Негерой» становится знаменем времени.

Лесков с его общественным темпераментом не остался безучастным свидетелем свершившихся политических и социальных перемен. Победоносцева писатель называет не иначе как Лампадоносцев. Публично осуждает Лесков и циркуляр о «кухаркиных детях».

Лесков и теперь остается вне общественных и идейных течений, тем более что самое демократическое из них – народничество – терпит поражение за поражением. «Хождение в народ» не принесло ожидаемых результатов, волну терроризма отбило правительство. В самой идеологии народничества демократические идеалы вытеснялись теорией «малых дел». Отсюда такое пристальное внимание Лескова к деятельности Льва Толстого.

«А замечаете ли Вы, – пишет он Суворину, – что Лев Толстой и в нынешнем своем настроении *оживляет* литературу. Он шевелит совесть, будит мысль, переустанавливает точки зрения на лица и репутации... «Огромное воздействие производит на него этическое учение Толстого, которое он, однако, воспринимает критически. Лесков не принимает призывов к непротивлению, ко всепрощению, но с воодушевлением поддерживает проповедь любви и деятельного добра. В письме к Толстому он так передает смысл их многолетней дружбы и духовной близости: «Я иду сам, куда меня ведет мой «фонарь», но очень люблю от Вас утверждать себя и тогда становлюсь еще решительнее и спокойнее».

Лесков усматривает выход из кричащих противоречий современности в совершенствовании личности, в духовном ее преображении на началах деятельной любви. «Не хорошие порядки, а хорошие люди нам нужны», – убежден Лесков. Свою веру в появление таких людей, а именно оно станет решающим вкладом в обновление страны, – эту веру Лесков черпает в глубинах русской жизни, в нравственной стойкости русского народа.

В восьмидесятые годы XIX века рождаются наиболее критические произведения Лескова. Многие из них по сатирическому пафосу близки щедринским. С другой стороны, именно в это время в творчестве писателя воплотился авторский положительный идеал – в образе праведника, человека, отзывчивого на чужое горе, способного к сопереживанию, щедрого на добро и деятельную помощь.

В Петербурге выходит сборник рассказов Лескова «Три праведника и один Шерамур». На замысел, пояснит писатель, повлияло его несогласие с Писемским, замечавшим в своих соотечественниках одни гадости и мерзости. Этим же «несогласием» подсказан и цикл «Праведники», открывающийся повестью «Однодум» (1879).

Ее герой, кварталный Рыжов, прослыл юродивым, поскольку не брал никаких взяток. Таким же честным остался он и на посту городничего Солигалича. Когда губернатору Ланскому, приехавшему в город с ревизией, доложили, что Рыжов живет на одно жалованье, он воскликнул: «Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет!» Ланской познакомился с Рыжовым лично и назвал городничего «библейским социалистом».

Другой праведник, Голован (рассказ «Несмертельный Голован»), совершает такие подвиги добра, проявляет такую самоотверженность, что в благодарной памяти народа его история становится легендой. А во время чумы он поднялся до такого бесстрашия и отваги,

помогая больным и зараженным, что его прозвали «несмертельным». Лесков как бы укрупняет характер героя тем, что мерой его человеческой ценности выбирает мнение народное.

Рецензент демократического журнала «Дела», не преминув попенять Лескову за прежний антиинигилизм, так отозвался о рассказе: «Сколько тут теплого чувства к человеку и народу, сколько понимания нравственной красоты безграмотного труженика...»

Летом 1878 года Лесков, отдыхая в Сестрорецке, услышал присловье о стальной блохе, которую сделали англичане, а тульские мастера ее подковали и отослали обратно в Англию. Лесков все доискивался корней этой анекдотичной молвы, а через три года написал свой знаменитый «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». В 1881 году он был напечатан в журнале «Русь», а в следующем году Лесков выступил с чтением «Левши» на литературно-музыкальном вечере Пушкинского кружка, куда вступил осенью прошлого года. В том же году «Сказ...» вышел отдельным изданием.

«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» рецензенты и критики встретили неоднозначно. Одни увидели в нем лесть простому народу, другие, напротив, желание принизить простых людей. Нетрудно представить, какую реакцию Лескова вызвали эти взаимоисключающие оценки: писатель на протяжении всего своего творчества, как мы уже убедились, скептически относился к односторонним, крайним точкам зрения на народ, на Россию.

Уже в середине шестидесятых годов Лесков воспринимал «сочиненными» те произведения, где мужики предстают «охлаянными дураками», а также те, что изображают мужиков «сахарными, добродетельными». Писатель порицал поэтизацию «силы народного смысла».

Разумеется, что отсюда никак не следует, что Лескову было чуждо чувство патриотизма. Он преследовал нетерпимое отношение к другим народам. Свою родину Лесков «любил, желал видеть ближе к добру, к свету познания и к правде».

У Лескова было что ответить рецензентам, он сумел отвергнуть упреки и в лесть, и в желании принизить русских людей в специальном «литературном объяснении»: «Ни того, ни другого не было в моих намерениях, и я даже недоумеваю, из чего могли быть выведены такие крайние противоречивые заключения. Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он «расчет силы не знает, потому что в науках не зашелся и вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по Псалтырю да Полусоннику».

На упреки рецензентов Лесков ответил и рассказом «Загон», где полемизирует с идеей обособления от Запада. По мысли автора, стремление к «уединенному государству» превратит Россию в загон. Лесков приводит взятые из жизни примеры того, как старозаветные предубеждения против всего нового заставляют крестьян отдать предпочтение сохе, а не пароконному плугу, дымным «куренкам», а не домам с печами, трубами, черепичными крышами, построенными для них гуманным помещиком. Лесков напоминает, что и Крымская война была проиграна именно из-за этих предрассудков.

Рассказ сочувственно встретил Л. Н. Толстой: «Мне понравилось, и особенно то, что все это правда, не вымысел».

«Левша» вошел в сокровищницу русской литературы еще и тем, что в нем был доведен до совершенства такой стиливой прием, как сказ.

Сказ – это, по определению академика В. В. Виноградова, «художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художественная имитация монологической речи». Сказовый стиль восходит к фольклору. Он ближе не к литературной, а к разговорной речи. Автор как бы устраняется из повествования и оставляет за собой роль записывающего услышанного. В этом стиле выдержаны «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Эпизодически сказовые интонации встречаются у Пушкина, Достоевского. Сказовое начало звучит и в более ранних произведениях Лескова: в «Житии одной бабы», «Запечатленном ангеле», «Очарованном страннике». В «Левше» имитация устной монологической речи проведена на всех уровнях – лексическом, синтаксическом. Особенно изобретателен Лесков в словотворчестве. Он

создает «камушки-самоцветы» (А. В. Чичерин), используя народную этимологию, местные выражения, клички: «валдахин» (вместо балдахин), «буремер» (барометр), «мелкоскоп» (микроскоп), «двухсестная» (двухместная)... Он доводит сказовый стиль до совершенства. Именно сказ в лесковском виде оказал заметное влияние на М. Зощенко, А. Платонова.

В восьмидесятые годы XIX века Лесков наконец занял в русской жизни место, достойное его таланта: он становится литературным, да и общественным авторитетом.

Из всех современников Лескова ближе всех к нему был, несомненно, А. П. Чехов. Видение мира обоими писателями, творческое воспроизведение характеров отличалось прежде всего «непредубежденностью», скептическим отношением к господствующим доктринам. «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором», – под этими строками Чехова мог поставить свою подпись и Лесков. А главное, и Лескова и Чехова выделяла и отличала суровая правда в изображении мужика...

Первая их личная встреча состоялась в Москве. Старший и стареющий писатель произвел неизгладимое впечатление на Чехова: «...мой любимый писака <...> похож на француза и в то же время на попа-расстригу». И каждый раз, когда Чехов приезжал в Петербург по своим литературным делам, он обязательно навещал Лескова.

В 1887 году Лесков познакомился с Л. Н. Толстым. «Какой умный и оригинальный человек», – напишет Толстой Черткову.

Жизнь Лескова наполняется яркими событиями и встречами. Репин иллюстрирует повести Лескова, пишет его портрет, а его портрет работы В. А. Серова экспонируется на XIII выставке передвижников.

Лесков посещает «пятницы» Я. П. Полонского – так называли литературные собрания, которые устраивал поэт. На одной из них писатель встретился с А. Фетом.

К изданию Собрания сочинений Лескова приступает Суворин.

Последние годы жизни Лескова прошли в доме на Фурштадской улице близ Таврического. Здесь его навещали Чехов, художник Н. Н. Ге, философ Вл. Соловьев, с которым у Лескова возникли дружеские отношения на почве интереса к идеям Л. Н. Толстого. Сам писатель почти нигде не бывал и никуда не выезжал, за исключением прогулок в пролетке вокруг Таврического сада.

Бедная внешними событиями биография Лескова этого периода насыщена напряженными раздумьями над современностью. Он интенсивно переписывается с Толстым, обсуждая волнующие их социальные и нравственно-этические вопросы, советуется с ним, проверяя собственные решения. Лесков по-прежнему обличает церковников, критикует общество за безучастное отношение к культуре, искусству. Сам он читает много и заинтересованно, выделяя из молодых писателей новые таланты – Чехова, Потапенко, Короленко.

В эти последние годы Лесковым созданы рассказы «Тупейный художник», «Человек на часах», «Грабеж».

Рассказ «Тупейный художник» был опубликован в 1883 году с датой «19 февраля. День освобождения крепостных». Лесков описал тот же крепостной театр графа Каменского в Орле, что и Герцен в своей повести «Сорока-воровка».

Владельцы театра отличались капризным своеволием и жестокостью: крепостные артисты, доведенные до отчаяния, даже убили одного из них – генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского.

Исследователь творчества Лескова обращает внимание на примечательное обстоятельство, а именно: рассказ не оставил никаких следов в переписке и статьях писателя, в критике той поры. И он выдвигает такую гипотезу: в рассказе заключено нечто более глубокое, чем антикрепостническая тенденция.»Так кто окончательно подрубил Любино счастье и сделал ее «вечной вдовой»? – спрашивает исследователь. – Граф? <...> Так ведь не граф окончательно

разбил Любину жизнь. Разбил ее – безликий, безымянный дворник. Это как погода, стихия. Увидел деньги – зарезал»⁸.

Это почти так же, как и в случае с Катериной Измайловой («Леди Макбет Мценского уезда»). Роковую роль в ее судьбе сыграли не столько обстоятельства, сколько страсти, темные инстинкты.

Основу рассказа «Человек на часах» составил реальный случай. Солдат, стоявший на посту около одного из подъездов Зимнего дворца, услышал с Невы крики о помощи. Он, несмотря на устав караульной службы, оставил пост, сбежал на лед и вытянул утопающего на берег. А затем происшествие наполняется такими подробностями, что оно, по словам самого Лескова, превращается в «исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной эпохи тридцатых годов».

Командир батальона отправил солдата в карцер, а медаль «За спасение погибающих» получил случайно оказавшийся на набережной офицер. Сам же солдат остался доволен, хотя после карцера был еще наказан розгами: «И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего». Закljučая рассказ, писатель возвращает читателя к мысли о праведниках: «Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было». Командир батальона остался на втором плане повествования.

В рассказе «Административная грация» (при жизни писателя не печатался) исполнители карательного политического режима также выведены из повествовательной тени.

Старый сановник, воспитанный на том, что «злоучений оставлять не след», возмущается, что современные жандармы не умеют вести свою линию, то есть сыск и слежку, аккуратно, «грациозно». В назидание молодым он приводит историю из своей практики, когда в результате его изощренной провокации один вольнолюбивый профессор покончил жизнь самоубийством, а другого сановника скомпрометировал так, что тот вынужден был бежать из города.

В апреле 1890 года исполнилось тридцать пять лет литературной деятельности Лескова. Он обратился через газету с просьбой не устраивать по этому случаю праздника.

Лесков чувствовал себя все хуже и хуже. Он жалуется на здоровье, а главное, на то, что «привык к болезни». Сужается с неизбежностью круг его друзей, близких знакомых. Жена доктора, лечившего Лескова последние два года, оставила словесный портрет Лескова тех последних лет: «...это был породистый, полный, среднего роста, приятный человек, с движениями медленными и важными <...> у него была небольшая голова с коротко стриженными волосами, большой открытый лоб и приятная улыбка. Особенно хороши были, своим выражением, его небольшие карие глаза: умные, живые, проницательные, иногда лукаво-насмешливые...»

В марте 1892 года Лескова навестил Чехов. Осмотрев больного, он заключил: «Да, жить ему осталось не больше года». В начале следующего года его посетил Л. Н. Толстой.

Когда Чехов увиделся с Лесковым в последний раз, тот, хотя и был весел, на свою жизнь и будущее смотрел очень мрачно: «Это не жизнь, а только житие».

18 февраля 1895 года Лесков, выехав на прогулку, простудился. Началось двухстороннее воспаление легких. В ночь на 21 февраля Николай Семенович Лесков скончался. Первым, кому А. Н. Лесков, сын писателя, отправил телеграмму о смерти отца, был Л. Н. Толстой.

Среди оставшихся бумаг Лескова нашли его распоряжение: «...погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком... прошу никого никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста».

Похороны Лескова на Литературных мостках Волкова кладбища состоялись 23 февраля 1895 года. Сейчас на его могиле, ничем не огороженной, стоит крест, вырезанный из камня.

⁸ Аннинский Л. Лесковское ожерелье. М., 1982. С. 185.

В. А. Богданов

Запечатленный ангел



Глава первая

Дело было о Святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваша. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатах, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу, везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницу, твердо молвил:

– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

– Мы, – ответили глухо из-за окна.

– Ну-у, а чего еще надо?

– Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

– А много ли вас?

– Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

– Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

– Пусти хоть малость обогреться!

– А кто же вы такие?

– Извозчики.

– Порожнем или с возами?

– С возами, родной, шкурье везем.

– Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

– А что же им делать? – спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.

– Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, – отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо

его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

– Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, – заговорил он, – он это с практики берет и внушает правильно – со шкуръем безопасно.

– Да? – отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

– Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

– Это почему?

– А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.



– А кого теперь еще понесет черт? – молвила шуба.

– А ты слушай, – отозвался хозяин, – ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и Богородичный лик.

– Это верно, – поддержал рыженький человечек. – Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

– А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, – отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рычачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

– Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, – проговорила шуба.

– Да-с, ее и имел.

– Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

– Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

– Что вы, шутите или смеетесь?

– Боже меня сохрани таким делом шутить!

– Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

– Это, милостивый государь, целая большая история.

– А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

– Извольте-с.

– Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

– Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

– Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

– Извольте-с, я начинаю.

Глава вторая

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукоеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и Нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многочисленные иконы с деяниями, какие, например: Индикт, Праздники, Страшный Суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообщая пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а пред ней все деревья кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая ангел-хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как пред ее чистотою бездушные деревья преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неопишное. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлосветный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отовсюду слышания; одеянье горит, рясы златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилов; в правой руке крест, в левой огнепалый меч. Дивно! дивно!... Власы на головке кудреватые и русые, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородачке пера усик к усика. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стихаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселииловым искусством украшенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: Владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевой кошель на темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а сверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвести. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду,

куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями. Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с Богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнью своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроилось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого одного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать: занята ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

– Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! – воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

– Извольте-с, послушаеству вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

Глава третья

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и деревья таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшених, и так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку огородили. На нас гляючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтителству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало, станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо Господь и явился нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан – одна пазуха в полтора обхвата,

а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щাপоватый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого питья, которое надлежало нам испить.

Глава четвертая

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекал их надо, а каждый тот болт, – по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, – отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал; но на все на это наш Маройковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колонишкой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

– Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни всё причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первая. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорта и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорта он отбирал. Вообще, вот всю такую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства; все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чай пить да велеречь; те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстиляет. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этикие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

– Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этикие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

– Я слыхала, – говорит, – что к вам Божие благословение видимо, – говорит, – проявляется.

А тот сейчас и подхватывает:

– Как же, – отвечает, – матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

– Видимо?

– Видимо, – говорит, – государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

– Ах, – говорит, – как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, – говорит, – прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

– Можно-с, – отвечал Пимен, – отчего же-с, очень можно! Только, – говорит, – в таковых случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

– Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не рассказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чувствует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачается ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, – и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свечи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

– Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свечами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и премениться одним дивесам на другие.

Глава пятая

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

– Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

– Хорошо, государыня, я повелю.

– Да чтоб они хорошенько, – говорит, – молились, потому мне это очень нужно!

– Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, – заспокоил ее Пимен, – я их голодом запошу, пока не вымолят, – взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстаёт.

– Я, – говорит, – как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

– Ах, прекрасно, – отвечает, – прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампы, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и наказывал нас с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен снимали да прятали в коробки, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора.

– У нас, – говорим, – такового ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и Бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

– Вам этакая красота не нравится? – перебила рассказчика медвежья шуба.

– Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? – отвечал он.

– У вас что же, почитается красотой, чтобы женщина на кочку была похожа?

– Кочку! – повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. – Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия ответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается,

а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, по-мясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

– Чего вы? она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но Бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покروпили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только Бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и беспокойно.

Глава шестая

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтит и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

– Что вы, – говорю, – второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает:

– А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

– А зачем же, – говорю, – вы в чуланчике у себя не ляжете?

– Нельзя, – говорит, – Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! вот, – думаю, – так и есть, что что-нибудь по вере случилось», а тетка Михайлица и начинает:

– Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи случилось?

– Нет, мол, второродительница, не знаю.

– Ах, страсти!

– Расскажите же скорее, второродительница.

– Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?

– Отчего же, – говорю, – не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

– Знаю, родной мой, – отвечает, – что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди – дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.

Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

– У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

– Говорите, – прошу, – скорее, как это диво сталося и кто были оно дивозрители?

А она отвечает:

– Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полуношный час, и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

– Уснув, – говорит, – помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело и река золу несет да в завертах около быков крутит и вглубь глотает, сосет. – А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырках, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу, стремится высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой? – потому что чувствами ей далось знать, что эта птица что-то предвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тошнение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронут. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чувствует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Иисусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, – думает, – что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, – кличет, – Кирилыч! Прокинись, голубчик, скорее, у нас дверь открыта, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Иисусово вспомняи», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кровати и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» – кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, – говорит, – что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран надгробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

– Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою шириной, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

– Ангел Господень, да пролиются стопы твоя аможе хоцещи!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

– Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:

– Того самого, – говорит, – что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

– Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

– Слыхал-де, – говорит, – как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

– Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

– Говори, – говорит, – говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

– Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

Глава седьмая

С баринком, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жида это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать, того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взятку не беру»; а жида промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу»; они двадцать. Он: «Что же вы, – говорит, – не понимаете, что ли, что *я не могу*, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

– Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно пощипывать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатывал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повиытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

– А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйста с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

– Давайте же скорее мою печать.

А жида говорят:

– А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? как?» А те на своем стали:

– Мы зи, – говорят, – деньги под залог оставляли.

Тот опять:

– Как под залог?

– А как зи, – говорят, – мы под залог.

– Врете, – говорит, – вы, подлецы этакие, хриstopродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

– Гёрш-ту, – говорят, – слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы можем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по-ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче, – говорят, – пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад,

да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, – говорит, – твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты, – говорит, – сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, – говорит, – это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, – говорит, – съездить за Днепр и привезть мне раскольников старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте, – говорит, – я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и покойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при таком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротиться и кляться, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне, – говорит, – хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осадила: «Что вы, что вы, – говорит, – мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «Ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его наконец малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «С меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч займа достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, – говорит, – шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделявайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умиловать. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услышал шум многих голосов и, обернувшись, увидел несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат.

И не успели мы с Михай лицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнаженными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее наконец больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать... Кой не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут. Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выпреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

Глава восьмая

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирю своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампы гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа». А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши, в чем дело, да «связать, – говорят, – его, под арест!». Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят да на железный прут иконы, как котелки, нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плечами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелась, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да, по счастью их, впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

– Стой, Христов народушко, не дерзничайте! – а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные пруты иконы, молвит: – Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники – отбейте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главное всех был, как крикнет на дядю Луку:

– Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

– Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

– Прочь! – а шепотом шепнул: – Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этаким силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

– Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

– Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? – и тут вдруг заметался, и все, что видел из Божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменять было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расхотелся, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

– Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! – да, накопивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жесто-

кий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот Божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще суший отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтител с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброуздан.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

Глава девятая

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содейстителем, сквозь иглы уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости соображения не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почтителя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствовали! Не кладите, – говорит, – сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой – мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным, в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас как водный труд по закою: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: «Его, – бают, – запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

– Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

– Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

– Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а Божиим смирением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

– Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

– Кому в какой вере быть – это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

– Не говори, – говорит, – мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею, – и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдал я это слово в устах и молвил:

– Что же, молись, – говорю, – и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к Церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставить. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

– Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

– Что же, – говорит, – вы думаете делать?

– Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожную чиновническою рукой опаленный.

– Да чем, – говорит, – он вам так дорог и неужели другого такого же нельзя достать?

– Дорог он, – отвечаем, – нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

– А как, – говорит, – вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

– Ну, уж на этот счет, – отвечаем, – ваша милость, не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

– Вы в этом уверены?

– Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

– Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

– Нет, – говорим, – на небольшое время.

– Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

– Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

– Это почему так?

А мы отвечаем:

– Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

– Пустяки, – говорит, – я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

– Нет-с, – отвечаем, – вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близость явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

– А где же, – говорит, – есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

– Очень, – докладываю, – они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, – говорю, – в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, – говорю, – нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

– Это опять почему? – пытается.

– А потому, – отвечаю, – что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастинок и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

– Так как же, – говорит, – быть?

– Сам, – говорю, – не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян с Понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать – неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

– Довольно дивные, – говорит, – вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

– Отчего же, – говорю, – сударь, искусства не постигать: это дело художество Божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукоделие одно от другого без ошибки отличают.

– Может ли, – говорит, – это быть?

– Все равно, – отвечаю, – как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

– По каким приметам?

– А есть, – говорю, – разница в приеме как перевода рисунка, так и в плавии, в пробелах, лицевых движениях и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукоmesла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

– Напрасно, сударь, станет отыскивать: нигде их памяти не осталось.

– Где же они делись?

– А не знаю, – говорю, – на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

– Это, – говорит, – быть не может.

– Напротив, – отвечаю, – вполне достаточно и примеры тому есть: в Риме у Папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

– А как она в Рим попала?

– Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

– Ну, а у нас, – говорю, – верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела.

– А если таковая, – говорит, – ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художства?

– Некем, – отвечаю, – нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растрепывание чувства развито и суеум повинует. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый Богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

– Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

– Я уже все кончил, – а он говорит:

– Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новгороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа стоят семь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, непохожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными воротами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями – дар премудрости, седмисвещный подсвечник – дар разума; семь очес – дар совета; семь трубных рогов – дар крепости; десная рука посреди семи звезд – дар видения; семь курильниц – дар благочестия; семь молоний – дар страха Божия. «Вот, – говорю, – таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

– Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это считаешь гореносным?

– А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись.

– Да ведь это же, – говорит, – всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

– Ну, никак нет, – отвечаю, – Писание не всякому дано разуметь, а неразумеваящему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвая себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред Господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

– А вы же, чудак, чего себе молитесь?

– Мы, – отвечаю, – молим христианския кончины живота и доброго ответа на Страшном Судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена-англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

– Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» – и затем, оправясь, продолжал снова:

– По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин – знать, приятна ему эта доброта в жене – глядит на нее, ажно весь гордостью сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюро, вынул две сотенных бумажки и говорит:

– Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает, и жене моей в вашем роде напишет – она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слезы улыбается и частит:

– Ни-ни-ни: это он, а я особая, – да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

– Муж, – говорит, – мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

– Нет, – говорит, – не смейте ей отказывать и берите, что она дает, – и сам отвернулся и говорит: – и ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, начинается преполовление моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились.

Глава десятая

В путь шествующему человеку первое дело спутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами всё, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древ л его русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Неохота бы говорить, а нельзя премолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолубии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно; но, однако, сами себя стыдясь, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскились, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунты кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унижить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообщая хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого ремесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда как воробы за совами старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как Божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левою, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же, – думаем, – такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» – да и говорю:

– Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

– Нет, – говорит, – дядя, ничего: это я так.

– Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

– Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

– Отчего же, – говорю, – ты не пойдешь?

– А так, – отвечает, – мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:

– Пойдем, Левонтыюшка, пойдем, молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

– Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

– Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а всё дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

– Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

– Ты гляди, человеке, этой иконе не покланяйся.

Я говорю:

– Почему?

А он отвечает:

– Потому что она адописная, – да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте скovyрнул письмо, а там под низом опять чертик.

– Господи! – заплакал я, – да что же это такое?

– А то, – говорит, – что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и нороят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слышал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплощению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипал, а Левонтий, услышав это, смолк и зовет меня:

– Дядя! а дядя!

– Что, – говорю, – добрый молодец?

– А знаешь ли ты, – говорит, – кто это наша мать, про которую тут поется?

– Рахиль, – отвечаю.

– Нет, – говорит, – это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

– Как же, – спрашиваю, – таинственно?

– А так, – отвечает, – что это слово с преобразованием сказано.

– Ты, – говорю, – смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

– Нет, – отвечает, – я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

– Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

– Что же, пойдем, – отвечает, – здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там, – говорит, – я слышал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

– Старец Памва, – отвечаю со строгостию, – господствующей Церкви слуга, что нам на него смотреть?

– А что же, – говорит, – за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей Церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

– Церковные, – говорю, – и на небо смотрят не с верою, а в Аристетилевы ворота глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

– Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

– Церковные кофий пьют!

– А что за беда, – отвечает Левонтий, – кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

– Откуда, – говорю, – ты это все знаешь?

– В книгах, – говорит, – читал.

– Ну так знай же, что в книгах не все писано.

– А что, – говорит, – там еще не написано?

– Что? что не написано?

А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

– Церковные, – говорю, – зайцев едят, а заяц поганый.

– Не погань, – говорит, – Богом созданного, это грех.

– Как, – говорю, – не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

– Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу, да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некоторое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волеващном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своим московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву-анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но, – думаю себе, – чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

– Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настигаем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «Нам надо идти направо», а он спорит: «Налево», и наконец чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и наконец вижу, не знаю куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

– Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

– Нет, не могу я, дядя, больше идти, – сил моих нет.

Я вех лопотался и говорю:

– Что тебе, дитятко?

А он отвечает:

– Разве, – говорит, – ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутовый пенек и говорит:

– Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить! – а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы деревья, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

– Левушка, батюшка, поневоляся, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

– Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

– Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

– Не спяй и бдяй сохранит.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает... «Владыко многомилостивое! – думаю, – это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-от все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит... Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганный волк, так и ляскаю... И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, – не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

– Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

– Понеси-ко за мною!

А Левонтий и понес.

Глава одиннадцатая

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а борода по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

– Доброчестный человек!

А он отзывается:

– Что тебе?

– Куда ты нас ведешь?

– Я, – говорит, – никого никуда не веду, всех Господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:

– Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

– Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу!

Но старичок опять давай проситься, молить ласково:

– Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубите ль, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

– Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу.

«Господи! – помышляю, – куда это мы попали», и вдруг как молонья меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый! – взгадал я, – да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, – думаю, – я в дебри лесной погиб или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

– Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

– Вся Господня земля и благословенны вси живущие, – ложись, спи!

– Нет, позволь, – говорю, – тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

– Все, – говорит, – уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

– Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

– Прости, Божий человек, еще одно вопрошение...

Он отвечает:

– Что вопрошать: Бог все знает.

– Нет, скажи, – говорю, – мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

– Зовут меня зовуткою, а величают уткою, – и с этими пустыми словами пополоз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

– Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

– Не буду, – отвечает, – брате Мирон, не буду. Спаси тебя Бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

– Отче! кто это на тебя так грубительно грозитя?

А он отвечает:

– Это служба мой Мирон... добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш! – думаю, – это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь ист лит нас, как гагрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспять, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «Сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажется, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой... самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистишь», а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и наконец просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лап-тки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит, и улыбается, и говорит:

– Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

– Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты всё знаешь?

– Знаю, – говорит, – знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, помогай!

– Какое же, – говорю, – святой человек, мое смирение? – ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

– Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в Небесном Царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

– Господи! – молится, – не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну, – думаю, – нет: слава Богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме Небесного

Царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слышал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную. Но наконец рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

– Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

– Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапоток плести.

Тут я сразу вскочил и думаю:

«Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» – и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

– Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? – а шепотом шепчу ему: – Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит... Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

– Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостию:

– Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

– Да, – отвечаю сквозь слезы, – он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! – и, повергшись к ногам усопшего, стонал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к Церкви присоединился».

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согрubi ему – он благословит, приберет его – он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: даром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «Жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю: «Как же он молится, каким образом и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, кроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг...

«Господи! – дерзаю рассуждать, – если только в Церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый трескот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

– Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить!

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

– За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

– Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится.

Я говорю:

– Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:

– Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит Господь, он в то и одется; что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел! Он в душе человеческой живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать...



И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отворотить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимая лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или... Господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «Ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что, если он сам ангел и Бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пенёчке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух Божий в ноздрях человека сего».

Глава двенадцатая

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плечми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

– Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

– Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

– Да тебе, – говорит, – что-нибудь мелкое ими не вывести.

Тот спрашивает:

– Почему?

– А потому что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

– Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять?

Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

– Значит, ты, – говорит, – нам запечатленного ангела подведешь?

– Отчего же, – отвечает, – я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

– Хорошо, – молвил Яков Яковлевич, – мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

– Какое же во имя?

– А уж этого я, – говорит, – не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

– А о чем ваша супруга более Богу молится?

– Не знаю, – говорит, – друг мой; не знаю о чем, но я думаю, вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

– Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

– Как же ты потрафишь?

– Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избие-ние младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравствен-ности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоночья кость, а потом разбил на

ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором – рождество пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем – Спасово Пречистое Рождество, и хлеб, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от Божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В Богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат Дары, а иные солнечник, иные же свечи. Едина жена держит святую Анну под плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба Святую Богородицу оmyвает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

– Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

– Могу.

– Так скопируй мне, – говорит, – в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

– Нет, вот уж этого я не могу.

– А почему?

– А потому, – говорит, – что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

– Что за вздор такой!

– Никак нет, – отвечает, – это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «Аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

– А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

– Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся.

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

– Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглички прибавляет: «Ох, мол, гут карахтер». Но только молвил в конце:

– Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

– Ну так смотрите, – говорит, – я начинаю, – и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Вла-

дыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и помогает; а мы уже ждем, что порох огня.

Глава тринадцатая

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник позимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постынет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халепа*, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

– Завтра, – говорит, – ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человеку! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдсятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготавливал: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, пригготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

– Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

– Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! – и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

– Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

– Да что же вы всё путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

– Твои, – говорит, – мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.